ЭЛЬФРИДА
ЕЛИНЕК

КЛАРА Ш.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Введите сюда краткую аннотацию

- В стороне (Нобелевская лекция)
-
-
-
-
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

В стороне (Нобелевская лекция)

Пишем ли мы, демонстрируя эластичность и умение гибко льнуть к реальности? Прильнуть к ней так отрадно, только что тогда станет со мной? Что станет с теми, кому действительность на деле недоступна? Ведь реальность вся всклокочена и растрепана. И нет гребешка, способного пригладить ей лохмы. Поэты и писатели погружаются в ее пряди, отчаянно пытаясь соорудить ей прическу, и причесанная реальность является им в ночных кошмарах. Что-то неладное творится нынче с ее обликом. Зачесанные наверх и собранные в изящную башенку волосы не лепятся к замку волшебной мечты, и пряди реальности вновь обнаруживают свой строптивый характер. Они выбиваются из прически, падают на лицо, закрывая его и не покоряясь никаким усилиям привести их в порядок. Порой эти волосы встают дыбом от ужаса — такое творится вокруг. Их никак не удается уложить. Не поддаются ни в какую! Сколько ни води по ним выщербленным гребнем, результат все тот же! Выглядит еще хуже, чем было. Мы пишем о том, что происходит, и написанное тает у нас в руках, как истаивает и сочится сквозь пальцы время, потраченное на то, чтобы описать все происходящее, — время, отнятое у жизни. И никто не хлопочет об утрате, о времени, в течение которого жизнь была мертва. Не хлопочут живые, не хлопочет убитое время, а уж о мертвых и говорить не приходится. То время, когда еще писали, втиснулось в книги других пишущих. Оно ведь способно на все и сразу, ведь оно — время: оно способно втиснуться в твою работу и в работы других, обрушиться на взлохмаченные прически, сооруженные другими, словно свежий, но злой ветер, нежданно-негадано задувший со стороны реальности. Уж если что однажды вздыбилось, оно, пожалуй, не скоро уложится. Дует яростный ветер, увлекая все за собой. И все срывается с мест, несется куда-то, только не в сторону реальности, которую следует отобразить. Куда угодно, только не в ту сторону. Реальность словно ветер, разрушающий прически, забирающийся под юбки и срывающий их, уносящий куда-то, спроси — куда? Откуда поэту знать реальность, если она все время врывается в него и срывает его куда-то, относит в сторону? Оттуда, со стороны, он, конечно, все разглядит яснее, и в то же время там он остается в стороне от путей реальности. В ней ему не находится места. Место его всегда вовне. Ведь всегда прислушиваются к тем его словам, которые он говорит, находясь в стороне, и именно потому прислушиваются, что суждения его двусмысленны. И вот перед нами два утверждения, оба

подходящие, оба правильные, и оба они напоминают о том, что ничего вообще не происходило, оба толкуют события в двух разных смыслах, оба глубоко копают, пытаясь достичь недостаточного основания, давно утраченного, как острые зубья сломанного гребешка. Или — или. Правда или ложь. Раньше ли, позже ли, так должно было произойти, потому что на этом основании совсем ничего нельзя построить. Да и как можно строить что-то в бездонной яме? Все недостаточное, все неудержимое, все, попадающее в их поле зрения, — именно за такое основание держатся поэты, пытаясь построить на нем свои тексты, хотя вполне могли бы без этого обойтись. Они могли бы оставить все как есть, да они и оставляют. Они ничего не убивают. Они только смотрят своим неясным взором, хотя неясный взор их не блуждает, где попало. Их взгляд попадает прямо в точку. И предмет, явление, в которое угодил этот взгляд, говорит нам о чем-то, говорит на последнем издыхании, хотя на него едва взглянули, хотя в него не смогли угодить даже острые взгляды общественного мнения; предмет, явление, в которое попал взгляд поэта, никогда не говорит, что оно могло бы быть и иным, если бы не пало жертвой такого — одного — описания. Оно свидетельствует именно о том, о чем бы лучше помолчать (ведь сказать об этом можно было бы и половчее), о том, что всегда оставалось неясным и лишенным основания. Многие погрязли в этих неясностях по самую грудь. Как в песке-плывуне, который совсем не помогает плыть. Под этим явлением нет твердой почвы, однако оно не беспочвенно. Оно беспричинно, оно — любое, но любовью к нему никто не пылает.

Пишущий пребывает вовне, и его позиция служит жизни, пусть она и находится вне жизненных пределов, иначе бы все мы не существовали в самой сердцевине, в гуще наполненной до краев человеческой жизни, и пишущий извне наблюдает за жизнью, вершащейся в другом месте, вдали от него. Она вершится там, где тебя нет. Стоит ли ругать того, кто утратил путь, по которому шел, путь своей жизни, свой жизненный путь, потому что его снесло, смело с пути, и не в том причина, что не хватило терпения переносить всех, кто тебя окружает, нести на себе этот груз, груз жизни — его просто случайно смело, как сметают пыль с башмаков, пыль, с которой беспощадно борется хозяйка, впрочем, может быть и не так беспощадно, как борются с пришлыми те, кто здесь — у себя дома. Что это за пыль? Она радиоактивна или просто активна? Я спрашиваю только потому, что она оставляет на пути странный светящийся след. Помечает ли она то, что бежит в стороне от пишущего, — помечает дорогу, которая никогда к нему не приблизится, — или это сам пишущий

пробегает мимо, выпадая за пределы? В мир иной он еще не ушел, однако он всегда уходит в сторону. Оттуда он смотрит на иных, чем он сам, впрочем, они иные и по отношению друг к другу, иные в своем многообразии, и он смотрит на них, чтобы показать их многообразие в свойственной им однообразности, привести их в форму, ведь самое важное — это форма, и, стало быть, оттуда ему удобнее за ними наблюдать. Но они, не прощая ему такой смелости, помечают дверь его убежища мелом; значит, путь его отмечен не светящимся порошком, а меловой чертой? В любом случае, эта метка одновременно и обнаруживает все, и снова все укрывает, тщательно замазывая след, проложенный им самим. Словно бы и не было его вовсе на этом свете. И все же он знает, что случилось. Ему сказали об этом с телеэкрана, он увидел это на лицах, искаженных гримасой боли, измазанных кровью, увидел на смеющихся лицах с густо наложенным гримом, прочитал по силиконовым губам, которые всегда дают правильные ответы на вопросы ведущего телешоу, прочитал с губ женщин, по натуре своей никогда не закрывающих рта, причастных к этому и ни в чем не виноватых, женщин, вдруг встающих со своего места и снимающих прямо перед камерой блузку, чтобы продемонстрировать свеженакачанные твердые груди — такой стальной упругостью плоти прежде кичились мужчины. А еще он услышал это из сотен глоток, из которых несутся слова, как несет изо рта гнилым запахом, только еще сильнее. Вот оно, то самое, что можно было бы увидеть на этом пути, если бы ты на нем еще находился. Но ты с этого пути сходишь, уступая ему — этому пути — дорогу. На него ты смотришь издали, оттуда, где ты в одиночестве, и делаешь это с удовольствием, потому что на дорогу приятно смотреть, а вот идти по ней нет желания. С этой дороги доносятся какие-то шорохи. Кажется, она подает нам сигнал, привлекая к себе внимание шорохами, а не только резким светом и громкими возгласами людей. Неужели дорога, по которой нельзя идти, боится того, что никто не совершит по ней прогулку, ведь столько вокруг совершается дурного, совершается непрерывно: пытки, преступления, кражи, жестокое принуждение, вынужденные жестокости тех, кто вершит судьбы мира? Дорога ко всему безразлична. Она все несет на себе, несет со всей твердостью, хотя и беспочвенно. Без оснований, на зыбкой почве. Я уже говорила, что волосы у меня на голове встают дыбом, и никакой лак не поможет их уложить. И во мне тоже нет твердости. Ни внутри, ни снаружи. Когда находишься в стороне, всегда надо быть готовым к тому, чтобы отскочить еще и еще на шажок, прыгнуть в ничто, в бездну, начинающуюся как раз на твоей

обочине. Там, в стороне, кроется ловушка, ждущая своей добычи, она распахивается, чтобы заманить тебя поглубже. Она завлекает тебя, увлекает вовнутрь. Нет, я не хочу терять из виду тот путь, по которому я не иду. Я хочу описать его как следует, описать достоверно и точно. Уж если я на него смотрю, из этого должен выйти какой-то толк. Но этот путь безжалостен ко мне. Он не оставляет мне выбора. Что мне остается? Мне недоступно само движение по пути, я не могу двинуться прочь. Я ухожу, оставаясь на прежнем месте. Но и там для надежности мне необходима защита от собственной беззащитности, равно как и от ненадежной почвы, на которой я стою. Рядом со мной, вселяя в меня уверенность, а не только охраняя меня, идут мои слова, проверяя, правильно ли я поступаю, насколько я по-настоящему неправильно описываю реальность, ведь мои слова всегда описывают реальность неправильно, они не могут иначе, однако делают они это так, что любой, кто читает или слышит их, сразу замечает, что они неправильные. Они ведь лгут! И этот сторожевой пес, мое слово, мой поэтический язык, который призван защищать меня, для этого я его и держу, вдруг на меня набрасывается. Мой защитник хочет меня покусать. Мой единственный защитник, не позволяющий другим людям меня описывать, мой язык, мои слова, которые существуют как раз для того, чтобы описывать все что угодно, но не меня саму, — потому-то я и исписываю бездну бумаги, — моя единственная защита оборачивается против меня. Неужели мои слова даны мне лишь для того, чтобы они на меня нападали, прикидываясь моими защитниками? Я искала в словах, в письме защиту, но теперь мои спутники, мои слова, которые в своем движении, в звучании представлялись мне надежной опорой, оборачиваются против меня. Ничего удивительного. Я ведь всегда им не доверяла. И что это за маскировка, существующая лишь для того, чтобы обнаруживать тебя все отчетливей, вместо того, чтобы делать невидимой?

Мои слова иногда случайно попадают на эту дорогу, но с дороги они никогда не сворачивают. Сказать словами — процесс вовсе не произвольный, он непроизвольно произволен, хочешь ты этого или нет. Слова знают, чего они хотят. Им хорошо. Вот я, к примеру, этого не знаю, мне неизвестны имена. Говорение, вообще всякое речение безостановочно изрекается там, на дороге жизни, не имея ни начала, ни конца, но назвать это сказываемым словом я не могу. Бесконечны речи тех, кто там стоит, потому что остановиться никто не желает, слишком они занятой народ. Они все там, на дороге. Но меня там нет. Там только мои слова, порой покидающие меня и идущие к людям, не ко всем подряд, а к тем,

настоящим, реальным людям; мои слова, уходящие от меня по дороге, на которой есть хорошо различимые указатели (здесь никто не сможет заблудиться!); слова, словно видеокамера, следящие за каждым движением этих людей, чтобы по крайне мере они, мои слова, смогли узнать, что же это за жизнь и какова она — хотя именно тогда, когда за ней наблюдают, она отчасти перестает быть самой собой. А потом все это им предстоит описать, разглядев как раз в том, что уже жизнью как таковой не является. Кто-то, например, говорит, что ему надо бы сходить на профилактическое обследование. И вдруг тон его становится очень серьезным, как будто он думает, не отказаться ли ему от всякого слова… Что бы там ни происходило, только слова мои уходят от меня, я остаюсь одна. Слова уходят. Я остаюсь вне пути. Вне дороги. И слова мои бредут чужим путем.

Нет, постойте, они все еще здесь. Неужели они никуда не уходили, а только примерялись, с кем бы помериться силами? Вот они и на меня обратили внимание, мои слова, и тут же меня оседлали. Они ведут себя со мной с превосходством седока, они мною помыкают, они меня не любят. Они заискивают перед милыми людьми, встречающимися им на дороге, они увязываются за этими людьми, словно бездомные собаки, притворно демонстрируя свое послушание. На самом-то деле они дерзки и непослушны не только по отношению ко мне, но и к любому другому. Они — сами по себе. Они громко кричат в ночи, ведь кто-то забыл расставить вдоль дороги фонари, питаемые одним только солнцем, а не током из электрической розетки, и кто-то забыл дать тропе, по которой они бредут, приличествующее ей имя. У этой дорожки, правда, столько имен, что за ней не угонишься, пытаясь назвать ее по-своему. Я кричу и бегу вперед, кричу из своего угла, топаю по могилам ушедших в мир иной, ведь уж если я мчусь по обочине, мне не уследить за тем, куда я ступаю и на что наступаю своей тяжелой стопой, я устремляюсь туда, где уже обретаются мои слова, издевательски посмеиваясь в мою сторону. Им же известно, что, попытайся я хоть раз зажить этой жизнью, они бы немедленно устроили мне холодный душ. Сначала бы привели в чувство, облив ледяной водой, а потом еще и насолили бы мне как следует. Ладно. Я сыплю соль на дорожки, по которым идут люди, я бросаю ее горстями, чтобы растопить их лед, разбрасываю вокруг, чтобы лишить мои слова надежной почвы. При этом они давно уже беспочвенны. Сколь беспочвенна их наглость! Уж если я не обретаюсь на твердой почве, моим словам это и подавно непозволительно. Так им и надо! Почему они не остались со мной, там, в стороне, почему со мною расстались? Хотели увидеть больше, чем вижу я? Пройтись по

главной дороге там, на той стороне, где полно людей, и людей приятных, так мило болтающих друг с другом о том и о сем? Хотели знать больше, чем знаю я? Они ведь и так знали много больше, а вот, поди же, хотят еще и еще. Мои слова, жадно пожирающие все вокруг, того и гляди погибнут. Они обожрутся, набивая брюхо реальностью. Так им и надо! Я изрыгнула их наружу, но сами они отрыжкой не страдают, они хорошо усваивают пищу. Мои слова окликают меня, они кричат в мою сторону, туда, где я — в стороне от дорог, кричат наугад, не прицеливаясь, и наверняка попадают в цель, ведь они не просто говорят что попало, они сказывают себя со «строгостью отпускающего», как сказано о Тракле у Хайдеггера. Они зовут, они окликают меня издали, теперь это доступно любому, у каждого в маленькой коробочке хранятся наготове слова, чтобы ему было о чем поговорить, не зря же он этому учился? — мои слова зовут меня, застрявшую в западне, и я кричу и бессильно перебираю ногами, впрочем, нет, все не так, мои слова не окликают меня, они ведь ушли прочь, покинули меня, поэтому они вынуждены звонить по телефону, кричать мне в ухо, доставать меня то ли по пейджеру, то ли по сотовому, они орут мне прямо в ухо, что нет никакого смысла что-то высказывать, они сами за меня постараются, и я должна высказывать только то, что они мне подсказывают; ведь еще бессмысленнее было бы однажды выговориться с милым человеком, с таким вот, которому можно довериться, потому что он споткнулся и не в состоянии быстро встать на ноги, чтобы побежать за кем-то и, — ну да, просто немного с ним поболтать. Смысла нет никакого. Разговоры моих слов там, наверху, на удобной дорожке (я знаю, она удобнее, чем моя, я вообще бреду без дороги, впрочем, я не вижу ее отчетливо, я просто знаю, что и мне хотелось бы по ней пройти), — стало быть, то, о чем говорят мои слова, которые от меня отделяются, сразу же предстает их попыткой выговориться. Нет, не поговорить с кем-нибудь. Просто выговориться. И, изливая себя, мои слова сами к себе прислушиваются, они сами себя поправляют, ведь выговор, произношение в любой момент можно поправить; да, его всегда можно поправить, в конце концов, для того оно и произношение, чтобы его улучшать и вводить новые правила языка, однако такие правила, которые можно тут же снова нарушить. Это и будет моей новой уловкой, чтобы решить проблему спасения, я имею в виду, конечно же, самое простое решение. Простую уловку. Слова мои дорогие, прошу вас, может быть, вы хоть раз прислушаетесь к тому, что я говорю? Прислушаетесь, чтобы чему-то научиться, чтобы наконец-то обучиться правилам произношения… Что вы там дерете глотку

и разглагольствуете? Вы ведете себя так, чтобы я вновь сменила гнев на милость и приняла вас обратно? А я-то думала, вы вообще не хотите ко мне возвращаться! Вы никак не намекнули, что хотите вернуться ко мне, да это и не имело бы смысла, я бы не поняла намека. Ведь и словами вы стали, чтобы отодвинуться от меня и чтобы обеспечить мое продвижение, разве не так? Однако здесь нет никаких гарантий. И уж вы то, насколько я вас знаю, гарантировать вообще ничего не можете. Послушайте, я вас просто не узнаю. Вы по доброй воле хотите вернуться ко мне? Я вас к себе больше не пущу, что вы на это скажете? Что упало, то пропало. Ушедшего не вернуть. И если бы моя отрешенность, мое всегдашнее неприсутствие, мое беспрестанное стояние в стороне вдруг побудило бы меня вернуть слова назад, вернуть их, чтобы они, надежно у меня укрывшиеся, вернувшиеся наконец домой, могли бы выразить себя в прекрасных звуках, то в результате они с помощью этих звуков, с помощью этой пронзительной, громко ревущей сирены, в которую с силой врывается воздух, отодвинули бы меня еще дальше в сторону, отодвигали бы все дальше и дальше. Мои слова, которые я сама породила и которые когда-то удрали от меня (или я породила их как раз для того, чтобы они сразу же дали деру, потому что самой мне не удалось вовремя от себя убежать?), теперь, отхлынув назад, оттеснят меня еще дальше в это стороннее пространство. Мои слова с удовольствием барахтаются в луже, в маленькой временной могилке на пути, они уставили взор на «могилу в воздушном пространстве»[1], перевернувшись на спину, как доверчивый зверек, который хочет понравиться хозяину, они хотят нравиться, как всякие приличные слова, они лежат так, задрав лапки, чтобы их погладили по брюшку, а зачем же еще? Они охочи до ласк. Поэтому они и не присматривают за мертвыми, за которыми смотреть приходится мне, понятно, что эта обязанность повешена на меня. Вот и нет у меня времени следить, чтобы слова оставались на привязи — мои слова, которые бесстыдно юлят, выпрашивая ласковые прикосновения и поглаживания. Дело в том, что существует слишком много мертвых, за которыми я вынуждена присматривать: у нас, у австрийцев, когда говорят «присмотреть за кем-то», это значит — о ком-то позаботиться. Я должна обходиться с ними хорошо, да ведь мы этим самым и знамениты, что мы со всеми всегда обходимся хорошо. Не беспокойтесь, весь мир уже давно присматривает за нами. Нам самим об этом не стоит заботиться. Однако чем громче во мне звучит призыв к тому, чтобы я присматривала за мертвыми, тем меньше мне удается следить за своими словами. Я присматриваю за мертвыми, а всякий праздный гуляка гладит и почесывает мои

милые добрые слова, но мертвые от этого более живыми не делаются. Никто не виноват. И я, вся встрепанная внутри, как встрепаны волосы на моей голове, не виновата в том, что мертвые остаются мертвыми. Мне так хочется, чтоб слова мои там, на дороге, наконец-то перестали раболепствовать и подставлять себя под чужие руки, даже если им эти прикосновения столь приятны; мне бы так хотелось, чтобы они перестали канючить и требовать, а сами стали бы воплощенным требованием — чтобы подчиняться наконец не чужим ласкам, а требованию вернуться ко мне, слова всегда должны подчиняться, правда, они этого не знают и меня не слушаются. Они должны подчиниться, потому что люди, которые берут их к себе, словно родных детей, ведь слова такие милые, если к ним мило относиться, — эти самые люди, стало быть, не подчиняются никогда, они командуют, они сами не подчиняются, есть много таких, кто уничтожил, разорвал в клочки, сжег плакат, призывающий их добровольно вступить в круг общения, и знамя свое они уносят с собой, так-то вот. Чем больше людей следуют призыву моих слов и гладят их по животику, взлохмачивают им шерстку, откликаются на их доверчивость, тем дальше я, спотыкаясь, бегу от них прочь: я навсегда утратила мои слова, отдала их тем, кто обращается с ними лучше, чем я, я почти лечу — где же, в конце концов, тот путь, который нужен мне, чтобы гнаться за ними вослед? Как мне двигаться дальше, куда и зачем? Как я попаду в ту местность, где я смогу достать свой рабочий инструмент, впрочем, на самом-то деле — тут же опять его и упаковать? Там, на той стороне, меж ветвей пробивается немного света: там ли то самое место, где мои слова сначала ластятся к другим, убаюкивают их, чтобы потом самим наконец быть сладко убаюканными? Или опять они готовы кусаться? Им бы только кусаться, просто никто об этом еще не знает, я-то знаю их хорошо, они долго у меня жили. Поначалу все вокруг сюсюкают и воркуют над этим с виду кротким животным, каких можно встретить в любом доме; зачем же люди пускают в дом еще и чужое животное? С чего бы этим словам быть не такими, как те, которые всем известны? А будь они другими, пожалуй, было бы небезопасно пускать их к себе. Вдруг они не подружатся со словами, раньше их поселившимися в человеческом жилье? Чем больше отыскивается дружелюбных незнакомых людей, понимающих толк в жизни — хотя это вовсе не значит, что они разбираются, в чем же, собственно, ее толк, потому что преследуют они исключительно милые и уютные цели, ведь что-то преследовать им нужно всегда, — тем больше мой взгляд не может разглядеть дорогу к словам. Miles and more.[2] А кому же еще разглядеть ее, если не взгляду? Неужели слово хочет вобрать

в себя еще и взгляд, неужели оно хочет сказать что-то раньше, чем увидит это самое что-то? Слово валяется тут, перед нами, его хватают руками, его треплет ветер, баюкает буря, его оскорбляет наш слух, оскорбляет настолько, что оно уже и вслушиваться перестает. Ну, тогда: слушать всем! Кто не станет слушать, пусть говорит, и слушать его не будут. Не слушают никого, хотя говорят все. Меня слушают, хотя мои слова меня не слушаются, хотя я их уже совсем потеряла из виду. О моих словах много чего говорят. Поэтому им самим говорить много не приходится, и это тоже хорошо. К ним прислушиваются — как они медленно говорят, говорят вслед тому, что где-то кто-то нажимает на красную кнопку, и происходит страшный взрыв. Остается сказать лишь одно: Отец наш небесный… Слова мои имеют в виду не меня, хотя кто же, как не я, родитель моих слов — или, точнее, родительница? Я — родительница языка моего отечества. Родной язык был здесь с самого начала, он всегда был во мне, вот только не было отца, который имел бы к этому отношение. Мой родной язык часто вел себя непристойно, мне это ясно давали понять, однако я понимать не хотела. Сама виновата. Отец покинул нашу маленькую семью, оставив родной язык. Он был прав. И я бы на его месте тоже здесь не осталась. Теперь мой родной язык последовал за отцом, ушел от меня прочь. Он, как уже сказано, там, на той стороне. Он прислушивается к людям, идущим по дороге. По той дороге, по которой так рано ушел отец. Теперь мой родной язык знает что-то, чего не знаешь ты и чего он раньше не знал. Но чем больше он знает, тем меньше это о чем-нибудь говорит. Естественно, он постоянно что-нибудь говорит, но говорение это никому ни о чем не может поведать. И даже моя отрешенность отрешается от меня, ведь ей не находится применения. Никто и не видит, что я — там, внутри, в своей отрешенности. Никто не обращает на меня внимания. То есть относятся ко мне со вниманием, но внимания на меня не обращают. Как мне добиться того, чтобы все мои слова говорили так, чтобы им было что нам сказать? Без помощи моих высказываний. Я вообще ничего не могу сказать, ведь мои слова сейчас не у меня дома. Они там, на той стороне, и говорят они что-то другое, я им такого не поручала, но мои слова сразу забыли мое поручение. Мне они ничего не говорят, хотя они и принадлежат мне. Мои слова не говорят мне ничего, как же они могут поведать о чем-то другим? И все же им есть что сказать, согласитесь с этим! Они говорят тем больше, чем они дальше от меня, да, именно тогда они осмеливаются что-то сказать, что хотели бы сказать сами, осмеливаются не слушаться меня, спорить со мной. Когда на что-то смотришь, то предмет, чем

дольше на него смотришь, тем дальше отодвигается. Когда говоришь, ты вновь приближаешь его к себе, но сохранить его не удается. Он вырывается на свободу и спешит вослед своему собственному имени, вслед за теми многочисленными словами, которые я создала и которые потеряла. Мы достаточно много обменивались словами, обменный курс у слова жутко невыгодный, и в конце концов остается только одно — жуткое. Я что-то произношу, и это что-то с самого начала уже позабыто. Мое высказывание к этому стремилось, оно хотело уйти от меня прочь. Каждый день произносят нечто непроизносимое, но то, о чем говорю я, говорить якобы непозволительно. Со стороны сказанного это подло. Это несказанно подло. Сказанное не хочет мне принадлежать. Сказанное хочет быть сделанным, чтобы люди говорили: сказано — сделано. Я бы согласилась, если бы мои слова отрицали всякую причастность ко мне, лишь бы они по-прежнему мне принадлежали. Как мне добиться того, чтобы они хоть сколько-то были ко мне привязаны? Ведь к другим ничто не привязывается, не пристает, поэтому я и предлагаю моим словам себя. Вернитесь! Прошу вас, уважаемые слова, вернитесь! Ни в какую. Там, на той стороне, на дороге они узнают о тайнах, о которых мне нельзя знать, и мои слова рассказывают о них другим, тем, кто не хочет слушать. Вот я бы хотела, мне бы это очень подошло, было бы к лицу, извольте, однако мои слова и не думают останавливаться, а уж заговорить со мной — об этом не может быть и речи. Мои слова существуют в пустоте, отличительный признак которой — отличающий ее от меня — состоит как раз в том, что в ней находятся очень многие. Пустота и есть путь. Я нахожусь в стороне даже от пустоты. Я покинула путь. Я всегда говорила только вдогонку. Мне вослед многое говорили, но почти все было неправдой. Я же говорила только вдогонку самой себе, и я утверждаю: это и есть собственно говорение. Как уже сказано — несказанное говорение! Так много давно уже никто не говорил. Люди даже не поспевают слушать, хотя слушать необходимо, чтобы быть на что-то способным. Если смотреть с этой стороны, что на самом-то деле будет означать смотрение в сторону, смотрение в сторону даже от меня, то мне вослед никто ничего сказать не может, им просто нечего сказать, ничего из этого не выходит. Я всегда смотрю жизни вдогонку, мои слова поворачиваются ко мне спиной, бесстыдно подставляя другим животик, чтобы их приласкали, а я вижу их только со спины, если вообще что-либо вижу. Как часто они вообще не подают мне никакого знака и не говорят ничего. Иногда я их там, на той стороне, вообще не вижу, и я не могу даже произнести: «как говорится», пусть я и говорила так уже не один раз, а вот

теперь сказать не могу, от меня ушли мои слова. Иногда я вижу их со спины или вижу подошвы их ног, на которых они толком не научились ходить, мои слова, хотя движутся они намного быстрее меня, и уже давно. Что я здесь делаю? Из-за того ли, что я здесь, мои милые слова тоже улеглись — на некотором отдалении? Наверняка они быстрее меня, они вскочат на ноги и унесутся прочь, если я попытаюсь выйти из своего угла и перейти дорогу, чтобы забрать их к себе. Я не знаю, почему мне следует забрать их к себе. Может, чтобы они не забрали меня? Может, это знают они, убежавшие от меня? Не идущие вслед за мной? Они следуют за взглядами и словами других, а с другими меня на самом деле трудно перепутать. Они не такие, потому что они — другие. Просто по той причине, что они другие. Моим словам этого достаточно. Самое главное, что я не делаю одного: не высказываюсь. К другим, всегда только к другим, только чтобы не принадлежать мне, ах, мои сладкие слова. Я бы ведь приласкала их так же нежно, как ласкают их те, что на другой стороне, если бы только могла их поймать. Но слова мои там, на дороге, чтобы я их поймать не смогла.

Когда же они улизнут от меня потихоньку? Когда исчезнет что-то, что должно исчезнуть, чтобы могла наступить тишина? Чем больше мои слова уходят туда, на ту сторону, тем громче они звучат. Они у всех на устах, одни мои губы их не произносят. На меня опускается мрак. Я не опускаюсь на землю, не лишаюсь чувств, но на меня опускается мрак. Я изнемогаю, глядя вослед своим словам сквозь мрак и ночь, как маяк глядит на море, призывая кого-то светом и сам освещая себя, в круговом движении постоянно выхватывая из темноты то одно, то другое, что существует и само по себе, хоть свети на него, хоть не свети. Маяк этот не поможет никому, пусть кто-то и жаждет его помощи, чтобы не погибнуть в воде. И чем сильнее я стараюсь загасить свои слова, тем своенравней они разгораются. Я совершенно механически гашу пламя своих слов, я переключаю горелку на минимальный режим, но чем сильнее я пытаюсь накрыть огонь колпачком на длинной палке, которым в детстве, помню, гасили свечи в церкви, но чем больше стараюсь я задушить это пламя, тем больше воздуха устремляется к нему. И слова мои кричат все громче, выгибаясь под сотнями рук, доставляющих им удовольствие, чего я не делала никогда, я ведь и о самой себе не знаю, что бы доставило мне удовольствие. Они кричат, чтобы держаться от меня подальше. Они кричат на других людей, чтобы те трубили в горн и кричали, подобно им, как можно громче. Они кричат, чтобы я не подходила к ним слишком близко. Пусть никто ни к кому не подходит слишком близко. И то, что сказано,

не должно приближаться к тому, что хотели сказать. Нельзя слишком близко подходить к собственным словам, это вызов, они вполне могут сами сказать о себе, сказать оглушительно громко, чтобы никто не слышал, что все, что они говорят, им кто-то подсказывает. Слова даже прельщают меня обещаниями, лишь бы я к ним не приближалась. Они обещают мне все, если я останусь поодаль. К ним позволено приближаться миллионам людей, а вот мне — ни в какую! А ведь они мои! Что вы на это скажете? Я не знаю, что вам сказать. Слова, должно быть, забыли, откуда они родом, другого объяснения у меня нет. Когда-то давно они начинали у меня с малого. Трудно поверить, как они выросли, невозможно описать! Я ведь их с трудом узнаю. Я их знала, когда они были в-о-о-о-т такими маленькими. Тогда было очень тихо, тогда мои слова еще были моими детьми. А теперь они вдруг стали такими огромными. Теперь это вовсе не мои дети. Ребенок не повзрослел, но стал огромным, он не понимает, что еще не избавился от моей опеки, но, тем не менее, убаюкиваньем от него уже не отделаешься. Он бодрствует, заглушая себя собственными криками, заглушая любого, кто кричит громче, чем мои слова. Мои слова взвиваются в невероятные выси. Поверьте мне, слушать такое вам вряд ли захочется! Я не горжусь этими детьми, поверьте мне, прошу вас! Когда они были совсем маленькими, я хотела, чтобы они оставались такими же тихими, какими были, когда еще не умели говорить. Я по-прежнему не хочу, чтобы они налетали на людей, как буря, чтобы заставляли других вопить еще громче, вскидывать руки вверх, бросаться тяжелыми предметами, предметами, которые мои слова не могут ни ухватить, ни поймать, ведь мои слова, и в этом моя вина, никогда не были очень спортивными. Они не могут ничего ловить. Они могут бросаться словами, а вот ловить не могут. Я же остаюсь в их ловушке, хотя они и покинули меня. Я — пленница своих слов, которые сторожат мою тюрьму. Странно, они вообще не следят за мной! Они так уверены во мне? Уверены, что я не убегу, и потому думают, что могут сбежать от меня? Смотрите, вот идет человек, он уже давно умер, и он заговаривает со мной, хотя делать этого не должен. Ему это позволено, нынче многие мертвецы говорят своими глухими голосами, они решаются говорить, потому что мои собственные слова не следят за мной. Не следят, потому что знают — в этом нет никакой необходимости. И пусть они хотят улизнуть от меня, меня-то они никогда не потеряют. Я у них всегда под руками, а вот они у меня отбились от рук. Но я остаюсь. Что остается в веках, то не создадут поэты.[3] Все остающееся исчезает. Полет под небеса отменен. Никто к нам не прилетел, ничего небывалого у нас не появилось. Но если,

вопреки разуму, что-то, чему не настал черед, все же захочет здесь ненадолго остаться, то исчезнут необходимые для него слова, самое неуловимое из всего, что остается. Они откликнулись на предложение другого хозяина. Чему остаться суждено, то исчезает вечно. Во всяком случае, здесь его больше нет. И что мне теперь еще остается…

notes

Примечания

1

Цитата из стихотворения Пауля Целана «Фуга смерти». Перевод Ольги Седаковой.

2

Зд.: Бесконечно длинную дорогу *(англ.)*.

3

Здесь обыгрывается строка из стихотворения Фридриха Гёльдерлина «Воспоминание»:

> … В море взоры
> Устремите свои. Оно отнимает
> И возвращает память, любовь дарует.
> Все остальное создадут поэты.

Перевод Грейнема Ратгауза